

Станислав Филипович

Догматы и опыт. Несколько замечаний о характере польской демократии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

гражданское общество, демократия, свободный рынок, ресентимент, самоориентализация, фантазии, имиджевая политика

Догматы связаны с верой. Опыт же обладает собственным голосом. Разумеется, это утверждение имеет очень общий и неоднозначный характер. В сущности, это символическое обобщение. Оно указывает на определённое важное отличие. В данном рассуждении «догматы» и «опыт» будут противопоставлены как символические формулы. Речь не пойдёт о дословно понимаемых формах веры, не появятся также эмпирические выводы в узком значении слова. Размышляя, будем действовать в сфере довольно широких обобщений, задаваясь вопросом о польских надеждах, связанных с демократией, о характере и смысле перемен, которые имеем в виду, когда говорим о «демократической трансформации». Здесь пригодятся два понятия, указывающие на контраст и конфликт, являющиеся своеобразным сигналом различия и диссонанса.

Присмотримся, с одной стороны, к определённым воззрениям, которые имели характер непреложных истин и задавали направление далеко простиравшимся надеждам, и которые, по сути, стали основой программы перемен. С другой стороны, обратим внимание на реалии, принимая во внимание эффекты и практику, задавшись вопросом, как выглядело земное воплощение великих идей. Сопоставление, естественно, будет иметь схематический характер, однако, хочется надеяться, позволит уловить важные тенденции, способствуя рефлексии, необходимой для точной оценки двадцатилетия перемен.

Каталог непреложных истин не был длинным; фундаментальное значение имели две идеи, две концепции – идея гражданского общества и концепция свободного рынка.

Это они составляют суть победоносного послания либерализма, одерживающего триумф, оттесняющего коммунизм на маргинес. В 1989 году всё кажется предельно простым. Гражданское общество, как полагают энтузиасты демократических перемен, создаёт барьеры и ограничения, делающие невозможным злоупотребление властью, оно является лекарством от всех политических недугов. Свободный рынок, в свою очередь – это панацея, истинное благословение, создающее всеобщее благополучие и достаток, гарантирующее расцвет и баланс.

Указатели определяли точное направление, сомнений было немного. Обе идеи не имели конкуренции. Восстановление (так представлялось в общих чертах) гражданского общества и построение основ свободного рынка должны были сформировать незыблемые основы демократии. Свобода и благосостояние должны были прийти на смену политическому насилию и абсурду плановой экономики.

Всё кажется очень простым, в польской политике появляется идея саморегулирования. Она должна проецироваться в плоскость экономики и политики. Свободный рынок и независимая республика. Эти лозунги звучат обещающе и убедительно. Рыночное саморегулирование и веяние свободы, высвобождающие энергию гражданской активности, должны были принести исторические перемены. Однако вскоре окажется, что всё намного сложнее. Революционный энтузиазм не станет сильнее интриг, и всемогущих счетчиков судьбы. История скажет своё собственное слово, которое вовсе не станет отголоском непреложных истин.

Первородным грехом польской демократии стали, далеко идущие и слишком поспешные упрощения. Рассмотрим сначала проблему гражданского общества. Идея *civil society* глубоко укоренилась во всех дискурсах, касающихся исторической регенерации, обусловленной падением коммунизма. В чем же заключалось упрощение? По странному стечению обстоятельств, данная идея (мы подразумеваем широкую общественную и политическую реакцию) никогда не была прочитана в присутствии, можно сказать, естественном ей контексте. До сегодняшнего дня бытует суждение, что проблематику гражданского общества впервые сформулировал Гегель. Однако это не так. Само понятие является в данном случае своего рода указателем. *Civil society* – термин, которым оперировал Джон Локк, суждение, которое займёт ведущее место в словаре английских вигов, укоренится в дискурсе шотландского Просвещения, эмигрирует за океан и сыграет весомую роль в формировании *эмоса* свободы

в Америке¹. Оно связано с определенным особым взглядом на историю, общество, нравы и политику, сформированным идеей *civility*. *Civility*, стало быть, *цивилизованность* (*civility – polished manners* – наиболее сжатое словарное определение) – изысканные манеры, утонченность, которая становится определенным эстетическим и культурным, равно как и важным политическим кодом. Другими словами, она становится определенной матрицей свободы, основанной на принципах взаимопонимания, доброжелательности и симпатии. В этом и заключается суть понятия. Именно этот смысл вложен в идеи свободы и исторических перемен, связанных с формулой *civil society*. Ничуть не злоупотребляя, меняя лишь немного терминологию, можно утверждать, что термин *civility* является эквивалентом понятия «культурного капитала», равно как „социального капитала”, ставших сейчас необычайно модными². (См. важную работу: М. Becker, *The Emergence of Civil Society In the Eighteenth Century*, Indiana University Press 1994 и R. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York 2000.)

Гегелевская абстракция, диалектика, дающая возможность определить гражданское общество как «средний термин», как формулу медиатизации, следовательно, как объединение единичного с общим, что, как правило, даёт нам совершенно иной ракурс. В данном кратком размышлении речь идет отнюдь не о радикальном несогласии, подразумевающим своего рода «переоценку» Гегеля. Речь о той специфике взгляда, которой у Гегеля не найдешь. О конкретике, колорите, об определенной исторической проекции мира, который, собственно, не был взят во внимание, допуская – а именно так упрощал Гегель, – что сама диалектика истории гарантирует неизбежные перемены, возносящие на пьедестал гражданское общество. Следуя за Гегелем, мы остаемся в поле представлений, позволяющих думать о непроизвольности исторических перемен, имеющих свои более глубокие аргументы, соответствующие безудержному шествию Разума и Свободы (ведь именно таково содержание диалектики истории Гегеля). В то же время, в англо-американском образце *civility* акцент ставится на конкретно понимаемой исторической практике, на изменениях нравов, традиций, переплетении эстетики, этики и политики, формирующих новый тугой узел социальных отношений. Оставаясь в обществе Гегеля, мы поверили в движущую силу истории, в логику исторического процесса, допуская, что само «свержение» коммунизма предопределяет, в силу исторической диалектики, укоренение

¹ Знаковая работа по данной тематике: В. Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Harvard University Press 1967.

² См. важную работу: М. Becker, *The Emergence of Civil Society In the Eighteenth Century*, Indiana University Press 1994 и R. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York 2000.

ценностей, представленных идей гражданского общества. Именно такой смысл должно было нести отрицание, в свержении *ancien régime* (старого режима). Все представлялось чрезвычайно простым – свержение коммунизма должно было осуществиться как выражение структур гражданского общества. Однако произошло совершенно иное – гражданское общество оказалось в значительной степени фантазмом. Отсюда распространенное сейчас недовольство дефицитом «социального капитала». Все же примеры *civility* не возникают – как оказалось – вследствие абстрактной диалектики.

И еще один вопрос. Суждение о гражданском обществе с самого начала было обременено серьезными недочетами. Во-первых, ему не хватало четкости и связности. Смешивались между собой различные словари; заявлялось одновременно о «строительстве», «возрождении», «реституции» гражданского общества, забывая о том, что все эти слова несли совершенно иной смысл. Во-вторых, так и не была решена необычайно важная дилемма, связанная с фундаментальным вопросом – эволюция или диффузия? Говоря другими словами – с проблемой, возникает ли гражданское общество благодаря процессу внутренних перемен, как бы питаясь собственной энергией, используя свою собственную силу, или все же благодаря принятию извне уже сформированных образцов, и их адаптации.

Кажется, верили одновременно и в эволюцию, и в диффузию, смешивая оба плана и обе схемы. Со стороны, однако, была предельно четко видна беспомощность великой импровизации. Об этом много писал Джон Грей, акцентируя внимание на том, что вера в распространение образца *civil society* была безосновательной и не нашла ни одного подтверждения. Подрыв этой веры хотя и не привел к мировому землетрясению; стал, однако, знаковым явлением. В очерке «След Просвещения» Грей писал: «В посткоммунистическом мире, где распад Советского Союза вызвал волнения и конвульсии вполне аналогичны с потрясениями вызванными падением Римской Империи. Крах просветительской марксистской идеологии, вопреки торжественным ожиданиям западных либералов и консерваторов, привел не к глобализации западного гражданского общества, а к возврату докоммунистических традициям со всеми их историческими антагонизмами и различными формами анархии и тирании». Каким образом это касается Польши, может кто-то спросить в недоумении и негодовании? Ведь Польша является членом Европейского Союза! Касается, причем в значительной степени. Можно размышлять, рассуждать на тему польской политики, имеют ли большее значение здесь принципы *civility*, или своеобразные правила *incivility* – то есть противоположность к первым – отсутствие уважения, взаимной доброжелательности, доверия и готовности к сотрудничеству. Правила, связанные со своего рода регрессом, возвратом к образцам квази-племенной враждебности. Оценивая

особенности польской демократии, возможно, необходимо констатировать, что мы столкнулись не столько с *пост-политикой*, сколько, вероятнее всего, с *прото-политикой*. К этому вопросу необходимо будет ещё вернуться.

Теперь обратимся к следующему великому постулату, еще одной «непреложной истине» – идее свободного рынка. Свободный рынок – это квинтэссенция капитализма. Демократический капитализм – еще одна аксиома – возникает на основании либерализма. Здесь также ничего не могло вызывать ни малейших сомнений. Схема была готова, и как казалось, ничто не могло ее нарушить. Либерализм, понимаемый как наиболее очевидная (естественная) форма отрицания коммунизма, предполагал очень простые решения. Абсурд общественного строя, основывающегося на государственной собственности и планировании, необходимо преодолеть, направляясь как бы в противоположном направлении, изменяя существующий порядок вещей. Поставить мир, который в то время стоял на голове – на ноги, как тогда любили повторять.

Концепцию перемен восприняли слишком буквально и слишком поверхностно. На ее основании возникает триумфальная риторика декоммунизации, риторика возврата к норме, а в результате целостная программа перемен, которые должны предоставить возможность осуществления регенерации. «Ненормальным» является коммунизм, «нормальной» – демократия, основывающаяся на здоровых принципах свободного рынка. Символическое оформление имеет сильное и однозначное звучание. Решение кажется чем-то абсолютно очевидным.

П р и в а т и з а ц и я – данная цель не может вызвать никаких сомнений. Так родилась программа, соответствующая логике перемен, – догматично и узко воспринятый либерализм, в сущности своей, воспринимается как коммунизм *a rebours* [фр. «наоборот», – примечания переводчика]. Коллективизацию должна заменить приватизация. Таким образом, осуществится очевидная во всех аспектах перемена исторического строя.

Что касается лозунгов, все выглядело очень убедительно. Но историю все же не создают силлогизмы. Ошибка, которую совершили энтузиасты воспринимаемой догматически приватизации, осуществляемой в экспресс режиме, имела тот же характер, что и ошибка, допущенная некогда приверженцами коллективизации. Она заключалась в крайних упрощениях и вере в невероятную силу доктрины, в магию идеологических догм. Ожидалось, что приватизация, приводя в движение механизмы свободного рынка, станет чудодейственным лекарством, которое устранил всякое зло и все недостатки. Предполагалось, что свободный рынок представляет собой некую формулу чудесного соединения, которое совместит в единое целое экономику, этику и политику, решая в то же время проблему изобилия, вопросы справедли-

ности и эффективного правления. Символика „невидимой руки”, связанная с идеей саморегулирования, стала фундаментом новой веры. Приватизируем, об остальном не беспокойтесь, поскольку оно придет само.

Идея перемен переродилась в свою собственную карикатуру. Концепция саморегулирования была воспринята, как некогда прочтена идея «незыблемых законов исторического развития», связанная с марксизмом.

Анатомию упрощений и иллюзий тщательно представляет социолог Ежи Шацкий в своей знаменитой работе *«Либерализм после коммунизма»*. «Таким образом, можно сказать – пишет автор – что в странах реального социализма либерализм проявился сначала как своего рода коммунизм наоборот, – следовательно, прежде всего как набор принципов, противоречащих официальной идеологии и бывших, в сущности, ее противоположностью»³. Это, естественно, облегчило создание эффективной формулы, узаконивающей переменную, но не помогло, однако, в решении практических проблем. Эффективное формирование проекта великих перемен требовало намного более деликатных инструментов, чем приватизация в ее догматическом восприятии. С последствиями упрощений Польша будет бороться в течение всего периода двадцатилетия.

Вся концепция с самого начала обременена была, в сущности, балластом значительного противоречия – грехом конструктивизма. Метаморфоза свободного рынка, гарантирующая всевозможные блага изобилия, должна была стать – отрицая, очевидным образом, идею саморегулирования – эффектом принимаемых государством действий. Государство должно было выступить в роли великого архитектора-революционера, творящего основы нового строя. Однако, к сожалению, «спроектированный капитализм, – как верно подчеркивает Шацкий, – неизбежно уподобляется другим рационалистическим утопиям, исходной точкой которых являются абстрактные принципы, а не практика»⁴.

Ко всем прочим несчастьям, точкой отсчета в польском восприятии либерализма был, в сущности, неолиберализм, догматичный и лишенный гибкости проект, навязывающий вместе с глорификацией частной собственности своеобразную ортодоксию свободного рынка, а также практикующий своего рода идеологическое принуждение во всех вопросах, касающихся приватизации. Следовательно, мы имели дело с усилением эффекта радикализма. Энтузиазм и усердие, с каким польские адепты свободного рынка строили свои планы Большого Скачка, вызвали некоторое замешательство на Западе. Появились опасения, что в обществе, лишенном естественного тыла в виде

³ J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Kraków–Warszawa 1994.

⁴ Там же, с. 184.

имеющихся развитых структур частной собственности, радикальная, проведенная в широких масштабах и воспринимаемая в идеологическом аспекте приватизация, обременена будет в силу необходимости большим риском⁵.

Следует добавить, что политика перемен начала набирать обороты именно в тот момент, когда все неолиберальное триумфальное повествование, представляющее свободный рынок как наделенную огромной силой машину счастья, встретило первые проявления решительной критики. В сущности, задолго до постыдного краха банков на Уолл-стрит, начала терять свои позиции сама идея саморегулирования. В 1998 году вышла в свет важная работа Джона Грея – *False Dawn. The Delusions of Gobar Capitalism*. Грей, некогда (справедливости ради сказать, в течение недолгого периода времени) приверженец и проповедник тэтчеризма и связанного с ним мифа «свободного рынка», подверг сокрушительной критике концепции, находившиеся у ее основ. Он принял во внимание опыт, который в 90-е годы XX века не мог уже вызывать серьезных сомнений.

Благодать, представленная в пророческой эйфории ортодоксальных приверженцев свободного рынка, не наступила. Саморегулирование, воспринимаемое как абсолютная гарантия всяческого благополучия, оказалось иллюзией. Практические результаты противоречили всем догматам неолиберализма. «В Соединенных Штатах, – утверждает Грей, – свободный рынок стал причиной общественного кризиса в масштабах, не присущих ни одному развитому государству. (...) Свободный рынок, обанкроченные семьи и обращение к санкциям уголовного права как последнего спасения от общественного кризиса идут бок обок»⁶. Таким образом, «Благая Весть» неолибералов не нашла подтверждения. Приватизация и неограниченная, свободная конкуренция, смягчение налогового давления не принесли ожидаемых чудесных результатов. Впрочем, оказалось – на чем особенно акцентировал внимание Грей, – что сама идея «свободного рынка» и концепция саморегулирования является всего лишь фикцией. То, что именовалось «свободным рынком», было всегда решением, возникающим вследствие конкретных правовых регулираний; следовательно, не может быть и речи о произвольном формировании свободного рынка, которое давало бы возможность говорить о, своего рода, историческом чуде. Идеология *laissez-faire* (фр. «непротивление») скрывала правду о системе, которая возникала, в сущности, вследствие применения строгих правовых инструментов, а не благодаря независимому механизму исторических преобразований. Именно так был создан «свободный рынок» в Англии в Раннюю Викторианскую эпоху, что детально ана-

⁵ J.K. Galbraith, *The Rush to Capitalism*, „New York Review of Books”, 25 октября 1990 г.

⁶ J. Gray, *False Dawn*, Granta Books, London 2002, с. 2.

лизирует Грей⁷. В конечном счете, следует констатировать, как предлагает автор, что концепция глобального «свободного рынка» является всего лишь «опасной утопией».

Какие выводы должна сделать из этого Польша? Прежде всего, рекомендуется осторожность, исключая слепое поклонение вечным истинам *laissez-faire* (принципа невмешательства). Приверженцы приватизации в ее догматическом восприятии, рассматриваемой как инструкция чудесной метаморфозы, никогда не принимали во внимание то, что, в сущности, имеет фундаментальное значение. Спротивляясь утопии «свободного рынка», не следует, конечно, пренебрегать механизмами рыночной экономики. Рынок существует, но не таким образом, как об этом мечтали доктринеры, приверженцы автоматизма, ставящие знак равенства между идеей приватизации и понятием всеобщего счастья человечества. Рынок, по сути, является очень сложной системой различных практик и моделей деятельности. Он не существует вне культуры. Он зависит от определенных навыков, традиций, моральных принципов и эффективно работающих правовых механизмов. Это не только свободные денежные потоки и свобода контрактов. Вульгаризированная, упрощенная идеология «свободного рынка», в сущности, представляет собой опасный политический яд, и совсем не способствует построению основ демократии. В Польше, к сожалению, ее поклонники имели, как кажется, слишком большое влияние.

Догматическая концепция перемен, приватизационная эйфория полностью заслонила проблему социальной реконструкции в широком смысле, которая должна сформировать потенциал развития и обеспечить перспективы польской демократии. Результаты проведенных польскими учеными исследований (наиболее известны оценки коллектива под руководством психолога Януша Чапинского) особое внимание акцентируют на том факте, что наиболее серьезным препятствием для роста и дальнейших перемен является осязаемый дефицит «социального капитала». На данном этапе обратимся снова к проблеме *civility*. Фальшивое понимание социальной и исторической перемены сказывается сейчас совсем не лучшим образом. Оказалось, что невозможно говорить об автоматическом создании нового типа связей, базирующихся на взаимном доверии и желании сотрудничества, благодаря чудесам односторонне воспринятой приватизационной политики. На самом деле, проблема намного сложнее. Она касается традиций, морали, чувства справедливости, образования, воспитания – целого спектра вопросов, которых архитекторы Большого Скачка не учли. Следует исправить эту ошибку. Деятельность в данном направлении максимально приблизилась бы

⁷ Там же, с. 7–10.

к идее либеральной традиции. Необходимо помнить, что либерализм – это не только «чикагская школа», прежде всего, глубокая традиция, которую совсем нелегко было бы совместить с навязчивым догматизмом. Это скорее Джон Стюарт Милль, чем «монетаристы». Польская демократия должна неустанно искать истинную точку отсчета и соответственные примеры, не замыкаясь в сфере отшумевшей доктрины, не поддаваясь силе инерции.

Однако поиск примеров и образцов не должен быть определяющим всё и вся. Одной из наиболее крупных угроз, которые обусловила «трансформация», было принятие такой точки зрения, которая неизбежно навязывала концепцию повторения, подражания, заимствования. Определение (согласно логике «трансформаций») цели всех и всяческих перемен в наиболее широком смысле – как «возврата к норме», означало, что отрицая собственную позицию, необходимо думать об адаптации, о приспособлении к образцу. Мы должны стать такими, как «другие», «нормальные», избавляясь от отпечатка деградации и исключения. Короче говоря, мы должны признать нашу собственную приниженность. Это, несомненно, очень опасный образ мысли, соответствующий – в наиболее общих чертах – механизму обесценивания, который Эдвард Саид в своей прославленной работе именовал «ориентализацией»⁸.

«Ориентализация» означает создание схем, которые позволяют свысока воспринимать отодвинутые на противоположный полюс, отличные от нашей культуры, которым приписывается статус второстепенности, версии бытия. Сегодня она, несомненно, является анахронизмом. По меньшей мере, в размышлениях о классических образцах, стало быть, функционирующих некогда дискурсах, касающихся Востока, противопоставленного Западу, как воплощения того, что несравнимо ниже и ущербнее. В скрытых, завуалированных формах «ориентализм», разумеется, прекрасно функционирует и ныне. Он напоминает о себе в недоверии и подозрительности, скажем, странстарых членов ЕС – по отношению к новым, которые воспринимаются как вызывающие беспокойство парвеню (безусловно, речь идет об общественном мнении, а не об официальной политике). Что касается Польши, основополагающими были суждения, которые Мария Янион именуется «самоориентализацией», подразумевая механизм самоуничтожения, неоднократно напоминавший о себе в прошлом, и снова проявившийся во времена «трансформации»⁹.

Мы представляем «Восток», мы с «Востока» – так с максимальным упрощением можно определить проблему в целом. «Восток» становится в таком

⁸ E. Said, *Orientalizm*, Poznań 2005 – польское издание.

⁹ M. Janion, *Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Kraków 2007.

самокритичном изложении символом второстепенности и маргинализации. Данная тенденция напомнила о себе с большой силой в период перемен, когда взгляды реформаторов обратились в противоположную сторону – к Западу.

В результате мы имели дело с отношением, которое – в глазах критически настроенных наблюдателей – ставит под сомнение все достижения эпохи перемен. Прекрасным примером является в данном контексте работа Здзислава Краснодембского, определяющего польскую демократию как «демократию периферии», акцентируя внимание на подражательном, имитационном характере всей концепции перемен¹⁰. Политики, архитекторы перемен, безусловно, отбрасывают радикальную критику с отвращением, как лишённые основания инсинуации. Однако ею не следует пренебрегать. Даже если согласиться с политиками в том, что Польша стала важным «игроком» в европейском пространстве, – следовательно, она уже покинула периферию, – сомнения остаются. Все еще дает о себе знать образ мысли, который нашел свое выражение в своеобразном культе «акцессии» («присоединения»). Мы присоединились, следовательно все фундаментальные проблемы были решены – мы в Евросоюзе, мы в НАТО, мы на п р а в и л ь н о й стороне. Данный выбор предопределил все. На самом ли деле? Можно ли без сомнений интерпретировать польские перемены в категориях «цивилизационного скачка»? Акцессия, воспринимается как чудодейственное лекарство от всех недугов, к сожалению, является ярким примером устойчивости образа мысли, означающего глубоко укоренившееся чувство неполноценности, связанное с механизмами «самоориентализации». Ведь само присоединение не может быть воспринято как метаморфоза. Заметим, однако, что рассматриваемая в аспекте конкретики политика «большого скачка» должна вызывать немалые сомнения. Приведем всего один, но много говорящий и необычайно важный пример. Во времена, когда весь мир наслаждается идеей *knowledge based socjety*, польские затраты (оцениваемые пропорционально, как доля в ВВП) на науку были невероятно малы. Польша, с затратами около 0,4–0,5% ВВП, оказалась в самом конце всевозможных рейтингов. Безусловно, она не находится среди европейских лидеров, и хвастливая риторика «цивилизационного скачка» не в состоянии этого изменить.

С такими общими вопросами, имеющими историческое измерение, связана, безусловно, и материя политики в самом конкретном ее восприятии. Политика, рассматриваемая в аспекте практики, начинаний, связанных с определением заданий и поиском конкретных решений. Здесь речь не идет, конечно, о детальном анализе. Мы попытаемся скорее уловить определенный

¹⁰ Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, Gdańsk 2003.

общий тон, с учетом вопросов, которые, как и проблемы, затронутые ранее, позволяют уловить характерный диссонанс – несоответствие истин, принадлежащих к сфере «мифа основания» и реальности. Кроме уже рассмотренных мотивов (идеи гражданского общества и концепции свободного рынка), огромное значение имела в данном контексте, безусловно, идея «солидарности». Это с нее мы должны начать размышления над стилем и характером практик, предопределяющих будничную облик польской демократии.

Идея «солидарности» превосходно соотносилась с глорификацией гражданского общества, давала возможность рассуждать о политике в категориях взаимопонимания, доверия и сотрудничества. Однако иллюзии вскоре развеялись. Императивом польской политики станет – и это уже у самого порога эпохи перемен – принцип враждебной конфронтации, символическим представлением которой был лозунг «войны наверху». Столкновение различных взглядов, схватка противоположных интересов, безусловно, в демократии является чем-то очевидным и естественным, но следует ли это воспринимать в категориях в о й н ы? Именно данный аспект следует рассмотреть, затрагивая вопросы, касающиеся особенностей польской демократии.

Очень быстро оказалось, что с консенсуальной моделью политики она имеет не слишком много общего. Не сформировались формулы политического общения, которые бы способствовали культивированию идеи взаимопонимания и сотрудничества. Правилom стала враждебная конфронтация. Если нам необходимо бы было говорить о «развитии» польской демократии, следовало бы взять во внимание все углубляющуюся неприязнь и недоверие. Разделение, связанное со смоленской катастрофой, проявит наиболее враждебный облик логики отторжения.

Несомненно, все началось гораздо раньше. Очень быстро исчерпался символический капитал согласия и понимания. Язык консолидации, сформированный благодаря традиции совместной борьбы, рождавшийся в недрах мечты о демократии, утратил значение. Его заменил язык конфликта. Реалии трансформации были, конечно, далеки от мечтаний. «Благую весть» заменила политика исключения. Свободный рынок означает селекцию. Очень быстро появилось резкое разделение, которое ранее казалось чем-то совсем невообразимым. Трансформация «осиротит» многочисленные ряды тех, которые не будут помазаны невидимой рукой рынка. На смену гимну солидарности пришло разочарование, подозрительность и гнев.

Участники политической игры прекрасно осознают это. Общественное неудовлетворение является истинным благом для политиков, стремящихся к конфронтации. Они очень быстро и с огромным желанием примутся за свою работу. Слепой гнев и недовольство вооружат оптикой, которая обострит зрение. Вскоре появятся комментарии, усиливающие чувство разо-

чарования. Пойдет речь об измене, фальшивом патриотизме, сервиллизме, распродаже польских интересов, о таинственном сговоре, жертвой которого должны пасть справедливые. Польская политика становится политикой р е с е н т и м е н т а. Тайной ре resentимента, как писал Фридрих Ницше, помещая данное понятие в сферу наших рассуждений, является приписывание вины, обвинение. Ре resentимент питается «никчемной» – как считал Ницше – страстью к уничтожению, утопает в наслаждении дискредитацией¹¹. Это означает постоянное стремление подвергать сомнению ценности, отказ в признании. Благодаря ре resentименту во всей его полноте МЫ становимся «лучше» их – тех, которые «хуже». Именно такой смысл имеют оценочные правила, связанные с ре resentиментом. Мы все время должны видеть тех, кто «хуже» нас, должны порочить и порицать. Логика ре resentимента, следовательно, напоминает яд; ре resentимент, конечно, становится ядом, который разрушает ткань согласия и понимания. Не следует им пренебрегать; это не *куръез*, особенность, связанная с жизненной периферией. Ре resentимент, как подчеркивает современный исследователь Ницше, является «определенным способом создания мира»¹². Как принцип политики способствует деструкции, уничтожает взаимное доверие, целится в авторитеты, вызывает чувство угрозы.

Его ресурсы охотно используют люди, подверженные фрустрации, отбрасывающие политику *status quo*, мечтающие и потрясениях и сведения счетов. Политики, наделенные, по сути, темпераментом революционеров, презирающие демократическую логику компромисса. В Польше они сыграли существенную роль, способствуя значительному ослаблению демократии, противопоставляя идее *status quo* революционный проект IV Польской Республики. Как далеко может зайти их влияние, показали эмоции, возникшие в связи со смоленской катастрофой. Они столкнули польскую политику на путь психодрамы, посреднической войны в плоскости жестов и символов. Истинным недостатком польской демократии является отсутствие настоящей оппозиции. Действующая в поле фантазмов и символов существующая оппозиция исказила принципы политической игры, гарантирующие правильное функционирование демократической машины. Место содержательной, требующей усилий и тщательности критики занимают нравоучительные жесты и пустые фразы. Дискредитируя и клеймя, они создают пространный мир фантазий, презрения и осуждения. Вместо добросовестной, демократической игры за власть существует ее заменитель с политикой нравоучительного преувеличения.

¹¹ См. F. Nietzsche, *Z genealogii moralności*, Kraków 1997.

¹² P. Sloterdijk, *O ulepszeniu dobrej nowiny. Pięta „ewangelia” Nietzschego*, Wrocław 2010, с. 31.

Польская оппозиция освоила стилистику ресентимента гнева. Она настроена на начинания, ассоциирующиеся с революционной мобилизацией масс, с «управлением гневом», как это называет Петер Слотердаjk¹³. Совершенно игнорируются, однако, задания, составляющие ядро демократической стратегии. Она не следит за политикой правительства, не предпринимает критики, выходящей за пределы морализаторского сопротивления и сферу патриотических фраз. Важная, приоритетная реформа системы науки и высшего образования была проигнорирована оппозицией. Естественно, существуют более подходящие медиумы гнева и ресентимента, чем проблемы научных исследований. Оппозиция наслаждается катастрофическими тонами, в ауре революционного сопротивления, создавая климат ожиданий дня справедливого суда, который покарает злодеев.

С логикой конфликта, осуждения, с войной в плоскости символов, связан приоритет «имиджевой политики». Демократические дебаты заменены жестами и позами. Мерилом успеха становятся общественные опросы. Вместо трудных дискуссий и нелегких решений, главным образом, имеем дело с акциями, напоминающими рекламные кампании. Впрочем, все соответствует необычайно модным теориям, полностью сводящим идею политики в плоскость «политического маркетинга». Разрушение «мифа основания» польской демократии привело в пустоту. В этой пустоте орудует стихия «политического маркетинга» и стратегия «управления гневом». Опоры времен ожиданий и надежд – идея гражданского общества, рыночного саморегулирования и солидарности – оказались довольно зыбкими. Всё, впрочем, согласуется с необычайно модными теориями, полностью сводящими идею политики в плоскость «политического маркетинга». Результатом эрозии мифа основания польской демократии становится пустота. В этой пустоте орудует стихия «политического маркетинга» и стратегии «управления гневом». Опоры времен ожиданий и надежд – идея гражданского общества, рыночного саморегулирования и солидарности – оказались довольно зыбкими. Таким образом, имеем дело с острым дефицитом символического капитала, не хватает сильной и последовательной риторики, которая могла бы придать польской политике более выразительный тон. Она остановилась в мертвой точке, между полюсами ресентимента и акцессийного оптимизма. Не возникла никакая модель политического общения, которая позволила бы побороть инерцию и схематизм. Все схемы, впрочем, были уже подвержены крайнему упрощению, стали предельно тривиальными; приелись всевозможные невероятные явления и все вдохновенные образы. «Зеленый остров», как и «IV Польская Республика» оказались на аукционе старины. Все вол-

¹³ P. Sloterdijk, *Gniew i czas*, Warszawa 2011.

нующие «истины» превратились в маркетинговую банальность. Идеи улетучились, ведь они принадлежат к стилистике другой эпохи, следовательно, остается политика маркетингового формата и будничное управление.

РЕЗЮМЕ

концепция перемен, наделенная именем демократической трансформации, основывалась на трех базовых идеях – идее гражданского общества, идее свободного рынка, а также идее солидарности. Они стали фундаментом мифа основания польской демократии. Основой, как вскоре выяснилось, очень недолговечной. Механизмы свободного рынка и политической борьбы за власть привели к очень быстрому разрушению ценностей, связанных с идеалами гражданского общества и солидарности. На смену концепции взаимопонимания и содействия пришло беспардонная конкуренция. Разочарование и фрустрация погрузили польскую демократию в пучину ressentiment. Провалилась также идея рыночного саморегулирования. Польская демократия оказалась в пустоте, между полюсами ressentiment и наивного оптимизма присоединения, связанного с программой интеграции. Недостаток символического капитала сделал невозможным создание модели политической коммуникации, которая гарантировала бы проведение истинных дебатов. Субститутотом эффективной коммуникации стала имиджевая политика, означающая перенесение активности в плоскость жестов и фраз.

Stanisław Filipowicz

DOGMA AND EXPERIENCE. NOTES ON THE PROFILE OF POLISH DEMOCRACY

Three fundamental ideas: civil society, the free market and solidarity lay at the root of the concept behind the changes defined as a democratic transformation. These ideas became the underpinning of the founding myth of Polish democracy, an underpinning which proved to be highly liable. Free market mechanisms and the political struggle for power were at the root of the erosion of values linked to the ideals of civil society and solidarity. The notions of mutual recognition and cooperation gave way to fierce competition. Disillusion and frustration plunged Polish democracy into a torrent of resentment. The idea itself of market self-regulation collapsed. Polish democracy found itself in a void, between the extremes of resentment and naïve accession-optimism, activated by the integration program. A deficit of symbolic capital thwarted the creation of a political communication model conducive to opening a genuine debate. Instead, an image-based politics emerged as a substitute of effective communication, representing a swing in activity away from debate and towards gestures and platitudes.

KEY WORDS: *civil society, democracy, free market, resentment, self-orientalisation, phantasmats, image-led politics*

Библиография

- B. Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Harvard University Press 1967.
- M. Becker, *The Emergence of Civil Society In the Eighteenth Century*, Indiana University Press 1994.
- J. Gray, *Enlightenment's Wake. Politics and Culture at the Close of the Modern Age*, London and New York 1977.
- J. Gray, *False Dawn*, Granta Books, London 2002.
- M. Janion, *Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Kraków 2007.
- Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, Gdańsk 2003.
- F. Nietzsche, *Z genealogii moralności*, Kraków 1997.
- R. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York 2000.
- P. Sloterdijk, *Gniew i czas*, Warszawa 2011.
- E. Said, *Orientalizm*, Poznań 2005.
- P. Sloterdijk, *O ulepszeniu dobrej nowiny. Piąta „ewangelia” Nietzschego*, Wrocław 2010.
- J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Kraków–Warszawa 1994.